

Г.В. АДАМОВИЧ
«Освобождение Толстого» (1955)

Есть в «Войне и мире» необычайно характерная для Толстого фраза, которая затем, в чуть измененном виде, повторяется у него много раз: «Он понимал это не разумом, а всей жизнью».

Трудно найти слова, которые точнее определили бы смысл и характер книги Бунина о Толстом: понимание «не разумом, а жизнью». Оттого впечатление от этой книги двойное: с одной стороны, рассудок несколько озадачен зыбкостью предлагаемого истолкования, с другой — чутье обезоружено правдивостью постижения. Если применить к «Освобождению Толстого» знаменитый вопрос маршала Фоша, вопрос, даже и в литературе очень существенный, полезный, нередко решающий: «De quoi s'agit-il?» — «В чем дело? о чем речь?» — ответ получится не совсем отчетливый. Но почти все построение бунинской книги обращено к тому, чтобы показать невозможность единого и стройного построения такой личности, как Толстой, почти все в ней клонится к обоснованию слов Софии Андреевны, сказанных ею незадолго до смерти: «Сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек!»

Название книги как будто обещает план, схему-чертеж, в соответствии с которыми расположены будут биографические факты и авторские комментарии. Название наводит на мысль о жизнеописании в стиле тех, где все разворачивается как бы по указанию невидимого режиссера и где в декоративно-размеренном порядке причины сцеплены со следствиями. Биография Толстого поддается такой обработке, она, пожалуй, могла бы ей поддаться лучше большинства других благодаря «перелому» в начале восьмидесятых годов, а в особенности благодаря концу, печальному и скромному по существу, но таящему в себе, независимо от желания Толстого, материал для более или менее эффектной и трескучей декламации. Бунин, однако, далек от стремления пронизать свою книгу каким-либо «идейным стержнем» и, пожалуй, лишь в последних главах ее, там, где он спорит с Маклаковым^а и Алдановым, сбивается на общие рассуждения, в противоречии с самим собой. Пока его не отвлекает полемика, он слушает, вдыхает, осязает Толстого всеми органами восприятия и чувствует, что нельзя решить и установить, чего Толстой хотел, над чем бился, куда шел, а можно только уловить в его внутреннем облике какой-то изначальный разлад, какую-то несговорчивую волю, терзавшую его и гнавшую к победе над самим собой: то, что в зародыше испытывал князь Андрей, слушая пение Наташи, то, что позднее, и с удесятенной силой, испытывает герой, несомненно автобиографических, «Записок сумасшедшего».

Замечательно, что, несмотря на подчеркивание всего физического и телесного, на все эти фамильно-толстовские «зубы, челюсти, глаза», о которых Бунин, со слов Лопатиной^б с увлечением рассказывает, Толстой получился у него неизмеримо духовней, душевней, даже нежней, чем у кого бы то ни было, как-то мягче, тише, беспомощнее. Ведя открытую полемику с Алдановым и Маклаковым, Бунин втайне спорит не только с ними, а и с Мережковским и Горьким^с, и в особенности с теми бесчисленными любителями готовых формул, которые говорят об «апостоле любви и мира» или «о могучем брате и заступнике всех обездоленных». Спорит он даже с Лениным, но на этом долго не задерживается, с раздражением отшвыривая те высокомерные и поверхностные статейки, которые в казенной русской критике почитаются верхом гениальности (поверхностные, но — надо правду сказать — ядовито-метко написанные: достаточно вспомнить, например, издательскую фразу о «рисовых котлетках»).

Мережковский назвал Толстого «тайновидцем плоти», приписав «тайновидение духа» Достоевскому. В этом сказалась не только присущая Мережковскому склонность к параллелям и к тому, чтобы от тезиса и антитезиса прямой дорогой направиться к синтезу, но и нечто более глубокое, более органическое. Всем известно, что Мережковский не любил Толстого (в сущности, даже не выносил, сколько бы ни говорил о своем

восхищении и преклонении) и высоко чтит Достоевского, всем известно, что Бунин терпеть не мог Достоевского и боготворил Толстого.¹

Для Мережковского у Толстого было «мало духа». Не играя словами, можно было бы сказать, что он в общении с Толстым страдал от отсутствия того особого, постромантического, разреженного, ледящего эфира, которым, как и другие люди его склада, он только и мог дышать и который в такой изобилии разлит у Достоевского. Отталкивание Владимира Соловьева от Толстого, — доходившее у умнейшего человека, каким, несомненно, был Соловьев, до запальчивых и чудовищно глупых пророчеств насчет того, что юмористические стишки Ал. Толстого будут читаться еще тогда, когда о «Войне и мире» или «Анне Карениной» все забудут («Три разговора»), — отталкивание это было основано на том же. Весь погруженный в свои видения, вечно витавший в «нездешнем», Соловьев тоже, по-видимому, задыхался от толстовских запахов, красок, звуков, от той связи с землей, которой проникнута каждая толстовская строка. Толстой как будто мешает Соловьеву или Мережковскому взлететь, унести из постылого для них земного мира, и им с ним становится скучно. С этим ничего поделать нельзя, и смешно было бы приписывать это различию литературных школ, стилей и направлений. Литературный стиль у писателя сколько-нибудь оригинального есть результат душевных особенностей, и не он влияет на них, а они на него. Бунин страстно возражает всему тому строю мыслей и чувств, который в новейшей нашей литературе особенно отчетливо отражен Мережковским. Бунин не допускает никаких бесконтрольных метафизических взлетов и ценит только то, верит только тому, что связано с землей, плотью и стихиями. Поэтому Толстой для него духовен максимально, т. е. настолько, насколько это вообще возможно: большего нельзя требовать, большего нельзя и добиться. Еще раз сошлюсь на князя Андрея, слушающего Наташу: «Страшная противоположность между чем-то бесконечно великим и неопределенным, бывшем в нем, и чем-то узким и телесным, чем был он сам и даже была она, эта противоположность томила и радовала его...»

Толстой чувствовал, сознавал противоположность и считался с нею. Для Достоевского не было противоположности, а были два отдельных мира, каждый из которых живет по своим законам. Оттого он Бунину и был малоинтересен, что на бунинское ощущение жизни как целого, без разрыва духа с материей, все его домыслы и догадки, все созданные им образы были плодами пустой, больной, будто сорвавшейся с цепи фантазии.

Спор с Горьким, а в особенности с краснобаями, ораторствующими насчет «апостола любви», совсем иного рода, хотя и вытекает все из того же, кровного, подхода к Толстому, который для Бунина характерен. Горьковские воспоминания о Толстом высоко оценены у нас даже теми, кто вовсе не склонен признавать Горького великим художником. Действительно, они яркие, картинны, искусны, если и грешат чересчур явным стремлением избавить Толстого от всякой «иконописности». Бунин отзывается о них как о «сочинении безмерно лживом, чуть ли не на каждом шагу». Показательно, между прочим, что Горький считал Толстого человеком ограниченного ума, при огромном, конечно, таланте, Бунин же и толстовский ум определяет как «совершенно необыкновенный». Каждый, очевидно, вкладывает в понятие «ум» свое, условное, содержание. Толстовский ум был действительно ограничен в том смысле, что был, как говорится, до отказа переполнен своей пищей, что не вмещал он мыслей чужих, что для многого был поэтому наглухо

¹ Короткое воспоминание, мимоходом.

Было это года за два до смерти Бунина. Только что оправившись от воспаления легких, он уезжал с женой, Верой Николаевной, из Парижа на юг Франции, где должен был провести зиму. Друзья его собрались на Лионском вокзале для проводов. Бунин был настолько слаб, что каждый невольно спрашивал себя: вернется ли он? да и доедет ли? Однако он подошел к окну вагона, хмуро и недовольно глядя на обычную суету на платформе. Неожиданно, в самую последнюю минуту, он сделал мне знак: подойдите, мол, поближе.. Я подошел. Задыхаясь, с трудом, Бунин проговорил: «Читал... я вчера.. Достоевского: ах, как плохо! Боже мой, до чего плохо!»

Поезд тронулся. Бунин слегка высунул из окна и, усмехнувшись, отрицательно помахал пальцем, что означало: ничего ваш Достоевский не стоит!

закрит, — примером того останется на веки вечные «Что такое искусство?», трактат столь же гениальный (морально гениальный), сколь и неприемлемый в характеристиках и оценках. Если бы не пламенная, неотразимая искренность тона, книга была бы истинным памятником глухоты и близорукости! Помимо того, толстовский ум был сравнительно слаб в тех отвлеченных, чисто логических построениях, которые не имеют непосредственного отношения к реальному, конкретному существованию каждого из нас. Надо бы сговориться насчет того, что такое «ум», прежде чем спорить о нем: если Кант, например, был умен, то в этом смысле Толстой умен не был. Здесь, в этой области, не только всякий подлинный философ, но и тот же Достоевский, например, неизмеримо гибче, богаче, ловчее и притом расточительнее его... Но, конечно, людей, их взаимные отношения, их еле-еле прорывающиеся, самые случайные побуждения, весь их безотчетный внутренний мир, все то вообще, что можно подвести под понятие «жизнь», Толстой понимал, как, кажется, никто никогда, ни до, ни после него, и тут ум его почти беспримерен (едва ли не самый пронзительный, самый тонкий из новейших французских критиков, покойный Шарль дю Бос^d, утверждал, что людей действительно знали и умели изображать во всей мировой литературе только два писателя: Шекспир и Толстой). Конечно, «Анна Каренина» — беспримерно умная книга, при всех других ее свойствах, и тут, в применении к ней, слова Горького об «ограниченности» нелепы и возмутительны. Но произошло недоразумение: одно и то же слово оказалось по-разному истолковано! Бунин с необычайной остротой чувствовал всякую фальшь в рассказах о Толстом, и размашистый, несколько развязный горьковский набросок оказался для него так же неприемлем, так же мучителен, как и попытки создать из Толстого благодного старца, изрекавшего душеспасительные истины или, здесь я позволю себе процитировать одного из наших современных авторов, — «давшего своим великолепным уходом незабываемый урок всей культурной общественности». Бунина отвращает всякая риторика, и в этом отношении он настолько щепетилен, что достаточно иногда одного сомнительного слова, чтобы подорвать его доверие. Как созданные Толстым образы людей настолько правдивы, что порой теряют отчетливость в очертаниях, так и сам Толстой у Бунина вышел, может быть, не совсем ясен, но сложнее и правдоподобнее, чем у других.² Не совсем ясно у Бунина, в чем именно «освобождение». Буддийские толкования сплетаются в книге с пантеистическими, а иногда и с христианскими, тщетно стремясь к цельности и к логической, поступательной последовательности. Мысль не вполне удовлетворена, но чувство вознаграждено той «земной проверкой», которая везде дает себя знать, вместе со страстной, «истинно сыновней» — как говорит сам Бунин — преданностью Толстому. Построение Мережковского — соглашаемся мы с ним или нет — было определеннее и тверже. Горьковские воспоминания, пожалуй, ярче, во всяком случае эффектнее. Но Мережковский и Горький, каждый по-своему, ломают Толстого, приспособливают его к своему о нем представлению. У Бунина он проще, доступнее, «горестнее» и в этой простоте своей еще величавее.^e

² Удивительно, что второстепенные толстовские персонажи всегда за- конченнее и ярче, нежели его главные герои! Какое чудо портретной живописи старик Болконский, и насколько расплывчатее князь Андрей! Насколько Вронский туманнее, нежели Стива Облонский! Как неясен Нехлюдов! По-видимому, чем пристальнее был взгляд Толстого, тем больше ему открывалось — до невозможности, в конце концов, все связать воедино и восстановить личность из миллиона противоречивых данных. На эту невозможность есть в «Воскресении» прямое указание (сравнение человека с рекой).

По поводу параллели между Толстым и Шекспиром: не будет ли правильно сказать, что впервые в мировой литературе образ человека, воспринятого не как «тип» с резко обозначенными, неизменными чертами характера, а как некое колеблющееся, мерцающее, туманное пятно появился с «Гамлетом»? Толстой изумлялся: у Гамлета нет никакого характера, а критики до сих пор ломают себе голову, чтобы характер его разгадать! Но ведь и у князя Андрея нет характера в том смысле, в каком есть характер у Обломова или у Хлестакова; у Наташи Ростовской нет характера по сравнению с любой тургеневской героиней или Соней Мармеладовой. Толстой был у нас единственным учеником и последователем Шекспира и лишь по какому-то непостижимому недоразумению на него обрушился.

^a Имеется в виду статья В. А. Маклакова «Лев Толстой как мировое явление» (1929) и книга М. Алданова «Загадка Толстого» (Берлин, 1923). Г. Адамович — автор книги: Василий Алексеевич Маклаков: Политик. Юрист. Человек. Париж, 1959 (глава «Маклаков и Толстой»: С. 80-99).

^b *Со слов Лопатиной. — По мнению Л. Аллена, комментатора рецензии Адамовича, «речь идет, кажется, о дочери Н. М. Лопатина (1854—1897), известного фольклориста того времени, с которым Толстой был знаком» (Указ. соч. С. 191). Однако уже в комментарии бунинского текста (Бунин И. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1967. Т. 9. С. 573), со ссылкой на мемуар Н. Муромцевой-Буниной (Жизнь Бунина: Беседы с памятью. М., 1989. С. 105, 107), выяснено, что упомянута писательница Екатерина Михайловна Лопатина (1865—1935), дочь судебного деятеля М. Н. Лопатина, сестра философа Л. М. Лопатина, печатавшаяся под псевдонимом «Ельцова К.», автор романа «В чужом гнезде» (1896—1900), рассказа «Подневольные души» (1898). После 1917 г. — во Франции.*

^c Горький М. О Толстом: Воспоминания. Берлин, 1923.

^d Дю Бос Шарль (1883—1939) — французский критик-эссеист.

^e Среди страниц «Комментариев» (1967), посвященных Толстому, встречаем: «В судьбе и деятельности Толстого одно обстоятельство смущает. Им владела навязчивая идея, будто в каждом человеческом поступке, в каждом слове есть доля лицемерия. Он вскрывал это лицемерие с неутомимой настойчивостью, доходя до ясновидения и усматривая ложь там, где никто никогда ее не замечал. В сущности, это его главный художественный прием, тот, которому он больше всего обязан репутацией "сердцеведа". Он и в самом деле знал людей, как никто. Но не случалось ли ему твердить, будто по инерции, "ложь, фальшь, притворство!", когда никакой лжи не оставалось? Ему верили, потому что он обладал неотразимой, гипнотической убедительностью. Но это была скорее маниакальная подозрительность, чем зоркость. В лицемерии он готов был заподозрить и Бога, каким представила его Церковь. Он отверг обрядность, ибо "зачем это Богу нужно?" Неужели, если Бог есть Бог, требуются ему какие-то ухищрения, штучки, фокусы, неужели нельзя обращаться к нему просто, как бы "с глаза на глаз", без проводников и посредников? Цепь необходима в спиритизме для вызова духов, но неужели нужна она и всемогущему Богу? Затем, неужели Богу не противны славословия, воскурения фимиама? Ведь вот даже ему, слабому человеку, Толстому, это противно, и лишь по слабости своей иногда этим наслаждаясь, он знает и чувствует, что наслаждаться нечем. Зачем нужна Богу вера в него? Богу должны быть нужны только дела. Религия Толстого вся вышла из этого ощущения, при всей своей прямолинейности — чрезвычайно значительного, чрезвычайно серьезного, вопреки обличениям, большей частью малосерьезным. Есть вообще в облике Толстого, как в позднем протестанстве, — какое-то глубоко человеческое, очищающее и честное величие. Но, требуя от Бога прямооты, он отдалил от него людей, подорвал веру в Бога. Толстовский Бог неуловим, и доступа к нему нет. Так путь к правде оказался путем к небытию. Не ошибся ли Толстой в расчете? Не бросил ли он вызов вместе с "цивилизацией" и всему мировому строю, в котором доля условности должна быть допущена? Может быть, Богу нужны обряды? Может быть, Богу нужны догматы? Толстой с этим никогда не согласился бы, но как знать? — не остался ли он в ужасном и безысходном одиночестве, без опоры, без поддержки именно там, в тех высших небесных, духовных сферах, где он уверен был опору и поддержку найти?» (Адамович Георгий. Комментарии // Знамя. 1990. № 3. С. 156).

Г. В. Адамович. «Освобождение Толстого» (1955). Из книги «Одиночество и свобода». Печатается по изданию: Адамович Георгий. Одиночество и свобода: Литературно-критические статьи. СПб., 1993. С. 66-70.

Статья Г. В. Адамовича представляет собой рецензию на книгу И. А. Бунина «Освобождение Толстого» (Париж, 1937; Бунин И. А. Собр. соч.: В 9-ти т. М., 1967. Т. 9. С. 7-165). Ср.: Пращерюк Н. В. Самоопределение автора в книге И. А. Бунина «Освобождение Толстого» // Кормановские чтения. Ижевск, 1994. Вып. I. С. 183-189; Пономарев Е. Р. Отзывы современников о книге И. А. Бунина «Освобождение Толстого» // Русская литература. 1995. №4. С. 168-171.